

Галина Щербакова

Кто из вас генерал, девочки?

Мама написала: «Как хочешь, а Андрюшку хоть на три дня привези. Может, в последний раз...» Последний раз — это красное словцо. Мама всю свою жизнь пользуется им лихо. Но на этот раз я подчиняюсь. У нее весной был криз. И я привезу ей Андрюшку, хотя понимаю: уговорить семнадцатилетнего парня сразу после экзаменов на аттестат зрелости бросить прощальные «огоньки», «камельки», турпоходы будет непросто.

Мы спорили ровно час. Впрочем, «спорили» — не то слово. Это было взаимное обвинение в непонимании. «Почему так сразу? — шумел сын. — Можно ведь и потом?» — «А кто будет готовиться в вуз?» — «Когда ты говоришь «вуз», бабушки для тебя уже не существует?..» И так далее в этом же духе. Потом он сказал: «Я сдаюсь на милость твоей безнадежности... Ты непробиваема...»

Взаимно непробиваемые, мы и поехали.

Мама была счастлива, но это ей не помешало сразу после праздничного завтрака произнести речь убойной художественной силы:

— Шубу забирай сразу после моей смерти. На отца не смотри. Некоторые старые дураки и в шестьдесят пять исхитряются жениться. Про одного

даже «Неделя» писала. Но не в том смысле, вот, мол, посмотрите на него, дурака, люди добрые, а вроде это и хорошо...

Мама с презрением посмотрела на папу. А он — и не дряхлый, и не трясущийся — одряхлел и затрясся под ее взглядом: смотри, дескать, куда там мне жениться? Мне бы ложку до рта донести.

Мама осталась довольна обзором своего порабощенного и разрушенного государства и продолжала:

— Вот я и не хочу, чтоб в моей шубе...

Я сажусь в бессилии. Знаю, это только начало.

— Дом внуку. — Андрей смеется. — Ничего смешного. Приедешь сюда врачом. У нас хирурги на золоте едят. Терапевтам хуже. У них не такая результативная работа. Вот гинекологи тоже на золоте едят.

— Тогда я сюда, — соглашается Андрей. — В жизни на золоте не ел.

— Деда, старика беспомощного, не гони, — продолжает мама свой блистательный монолог. — Он заслуженный горняк и заслужил счастливую старость. Поселишь его в светлой комнате. — Отец начинает плакать. Столько лет прожил с мамой, но мамины метафоры воспринимает буквально.

— Ты живи, — успокаивает он ее, — живи.

— Нет такого лекарства, — с гордой удовлетворенностью говорит мама, — чтобы

вылечить гипертонию. Так вот, — продолжает она. — Хоронить меня с певчими... Дед уже знает и согласен...

— Господи, мама, — говорю я, — при чем тут певчие? Ты ведь ни разу в церкви не была?

— Бабуля, хочешь я тебе сейчас спою, как певчий соловей? — предлагает Андрей. — Я много чего знаю... И жалобного тоже.

— А ты хоть и комсомолец, но чтоб в храм за мной вошел. Теперь с этим нестрого... Но если боишься, значок можешь снять...

— Очень боюсь, — говорит Андрей. — Я про это даже слушать боюсь.

— Хватит, мама, — говорю я. — У тебя, слава богу, сейчас 140 на 90. А у меня во время экзаменов было 150 на 100.

— Этого мне не говори, — сердится мама. — Чтоб в тридцать семь что-то болело? Значит, живешь неправильно.

Я машу рукой, куда там, мол, нам до правильной жизни.

— Траву надо пить, — говорит отец. — Суворов своих солдат травой лечил от всех болезней. Чтоб я, говорил он, портил свою армию вонючими немецкими лекарствами?

— Что мне нравится, — вступает Андрей, — так это слово «вонючие». Только так и надо убеждать в споре.

— А с ним никто не спорил, — отца давно волнует суворовская терапия, — тогда такой манеры — спорить — вообще не было...

— А я про что? — смеется Андрей. — Сказал полководец — и все пошли пастись...

— Не будешь ты врачом, — говорит мама. — Смеешься много. И вообще у тебя такая природа — будешь делать не то, что хочется...

Это в мое солнечное сплетение.

— Твоя мамочка тоже много чего хотела, а осела в учительницах.

— Она, бабуля, — защищает меня сын, — осела в хороших учительницах.

— А хорошим платят столько же, сколько плохим, — парирует мама.

— Нормально платят, — говорит Андрей.

Ну вот, у меня уже вырос союзник. И мама это поняла, посмотрела на нас на обоих, вздохнула и сказала:

— Двадцать лет тому назад я ее в университет провожала. Тоже конкурсы, страхи... Двадцать лет тому от этого же крыльца.

И тут я соображаю — именно от этого. В то лето его только-только поставили, новое, высокое, с фигурным козырьком. Доски вкусно пахли, но мама требовала, чтобы их скорей покрасили: струганные доски пахли ей свежими гробами. И крыльцо выкрасили в темно-зеленый цвет. Жуткий какой-то

цвет, и сохли доски долго, и лежали поэтому на ступеньках фанерочки, на которые надо было ступать. Я так и уехала с этих фанерочек. И только сейчас о них вспомнила. Посмотрела, а от них до сих пор следы, блеклые квадратные пятна, замытые, затапанные двадцатью зимами и двадцатью веснами. Добротной оказалась эта мрачная зеленая краска.

— Крыльцо так и не перекрашивали с тех пор, — затуманенно сказала я.

— Ну, вот еще! — возмущилась мама. — И не раз. Ты ж помнишь, сначала оно было зеленым, потом достали хороший цвет бордо, а три года как этим покрыли, салатным. Видишь, какой он жидкий...

И все-таки я видела следы прилипших фанерок. Я даже присела и провела пальцем по старому-старому зеленому квадрату. И у меня защемило сердце. Оказывается, тут все время оставалась моя молодость, проступая через все цвета и покрытия. И если есть квадрат на струганой доске, то где-то здесь, рядом, есть и я, которой семнадцать и которая скачет по прилипшим к краске фанеркам. Стоит только протянуть руку...

— Что с тобой, мама? — спросил Андрей.

— Ничего, — сказала я. — Хочешь, покажу тебе школу, где я училась?

Андрей сделал круглые глаза и захлопал

ресницами.

— Школа есть типовое здание, — сказал он.

— Сходи с матерью, — голос у моей мамы строгий, — посмотри, где она училась.

Андрей похлопал глазами на маму.

— Не надо, — сказала я. — Он мне не нужен.

Я сама пойду погуляю.

— Не заблудись, — сказала мама. — У нас большое строительство.

— Ты уверена, — спросил Андрей, — что тебе это надо?

Ах, вот, мой милый сын, думаю я, когда мы на самом деле не понимаем друг друга! Я ведь иду погулять в жизнь, в которой тебя нет. А раз тебя нет — тебя нельзя брать в расчет. Разве не так, малыш? Я сделала им рукой — и пошла. Видно, было на моем лице что-то эдакое, раз сын догнал меня у калитки и сказал: «В конце концов для общего развития я могу посмотреть, как разросся этот могучий шахтерский центр за годы пятилеток...» Дурак ты, дурак, мой сыночек. Я показала ему язык и ушла.

Я перескакивала с кочки на кочку, но даже если бы техническая революция прошла по моей окраине тротуарами и бетонками, я все равно бы нащупала под ними свои собственные следы, по которым только и могла сейчас идти. Я знала, что за первым же поворотом мне под ноги бросится

рыжая одноглазая собака Розка, она будет остервенело лаять, кружить вокруг моих босых ног, а ее хозяйка, старенькая бабка Воробьиха, будет кричать на нее: «Кыш, проклятая Розка! Отдам тебя собачникам на мыло». И я махнула рукой своей Воробьихе: «Ничего, мол, страшного. Розка пугает, потому что сама боится... В конце концов, мы все с двумя глазами, а она-то с одним...» Потом я перепрыгивала через какой-то забор, которого не должно было быть на моей дороге, и парень, возившийся с мотоциклом, остолбенело проводил меня глазами, когда я прошла по свежевспаханной грядке, перешагнула через лежащее колесо его мотоцикла, а потом вышла из чужого двора, как из своего. Он смотрел мне вслед, и челюсть у него висела растерянно и глупо. Потом я слышала, как он закричал: «Валя! Валя!» Сейчас он будет рассказывать некоей Вале про прыгающую через забор тетку, а Валя проницательно скажет: «А ну дыхни!»

Потом я остановилась. Здесь всегда был пустырь, потому что смыкались две коварные балки, естественно используемые как место для всеобщей свалки. Память меня не подвела, я вышла точно к тому месту, где должна была начинаться тропинка, она бы меня и вывела через балки к школе. Но балок не было. Была площадь, уложенная красивыми бетонными

прямоугольниками, между которыми пробивалась зелень. И бил фонтан подсвеченными струями. И родители — суббота! — фотографировали малышей на фоне этих самых струй. И дома стояли вокруг новые, те самые дома, о которых мне мама столько писала. Наш городок разбросан. Он состоит из пяти маленьких поселков, и каждый тяготеет к своему сердцу — шахте. В мое время всеобщим центром была школа, а еще разрушенный дворец и наш клуб, бывшая фабрика-кухня. Потом мама писала: «У нас такой теперь центр». В мои приезды мне норовили все это показать. Я упиралась. Почему, это целая история. И о ней потом. Я приезжала в огороженный высоким забором двор и замирала там на время своего оплачиваемого отпуска. Три-четыре раза под маминым напором я соглашалась хотя бы на автомобильную экскурсию. Отец, беспрестанно трубя сигналом, потому что шофер он трусливый, провозил меня по тем местам, где была хорошая дорога. «А вот это новый райсовет...», «А это музыкальная семилетка...», «Смотри, какая у нас красивая фельдшерско-акушерская школа». Город разрастался, менялся, неизменным оставался старый, разрушенный немцами Дворец культуры, но проехать к нему было нельзя, и мне просто сообщали: «Все еще стоит». От прогулок оставался в ушах автомобильный непрерывный сигнал.

А вот теперь собственными ногами я уперлась в этот фонтан, и он так бил, так переливался, что, не будь мне в этот момент семнадцать, я бы растерянно повернула назад, потому что моя тропинка дальше никуда не вела... Но мне было семнадцать, я окончательно поняла это, когда так лихо перемахнула через забор. Поэтому сейчас сделала только один шаг назад, назад от бетонной плиты, встала на цыпочки и увидела, что моя школа стоит на месте, просто два этажа, как правило, не видно за пятью, но я ее увидела, она краснела кирпичным боком между новыми домами, а раз была школа, то, значит, была и тропинка, по которой я могла к ней пройти... Тропинка проходила прямо по центру фонтана, по распахнутому горлу рыбы, выплевывающей цветастую воду.

Я присела на каменный фонтанный бордюр, как тысячу раз садилась на теплый травянистый балочный склон. Я спросила себя, чего мне хочется, неожиданно семнадцатилетней? Танцевать? Петь? Целоваться?

Три дня тому назад я чуть не до обморока плясала на выпускном вечере у Андрея. Я трясла плечами, руками, вывинчивала ноги в коленях, в общем, старалась чему-то там соответствовать. На меня нашло. Честно скажу, я раньше никогда не танцевала все эти шейки-мейки. В компании, в

которые попадала, всегда почему-то танцевали в первой танцпаузе вальс, а в последней барыню, с выходом и салфеткой, вместо батистового платочка. А я вообще старалась не танцевать. У меня комплекс лишнего веса. Это глупо, ведь 48 килограммов, какие были в десятом, уже никогда не вернуться. Короче — при вальсе я боюсь смахнуть что-то хрупкое, а салфетка меня оскорбляет эстетически. А тут, у Андрея, я разошлась, и меня ничего не оскорбляло. «Идите вы к черту, — вежливо сказала я своим коллегам, — я, может, этого вечера всю жизнь ждала». Но я, конечно, не ждала. Просто на меня нашло. И я пошла выплясывать неизвестные мне танцы. Ничего страшного. Это вам не падекатр или падеспань, где нужны какие-то правила. Здесь же требуется только душевное состояние. Так вот у меня оно было. Я ни разу тогда не вспомнила, каким был выпускной вечер у меня. Не было ни одного признака, могущего вызвать воспоминания. И музыка не та, и девчонки — одни с чуть прикрытыми попками, а другие в балахонах по щиколотку. И все такие уверенные в себе. Под какую-то синкопу я подумала, что двадцать лет — это двадцать лет. Это много, граждане трясущиеся...

А тут, на бордюре, я была как бы вне времени... Или как на высоком шпиле... Мне и двадцать лет тому виделось, и даже двадцать лет

после.

Так вот двадцать лет тому...

...Отчаянная Ритка, стреляя налево и направо своими фантастическими глазами, стащила с главного стола бутылку неизвестного — этикетка оторвалась — вина, и «наша четверка», закрыв дверь ножкой стула, аккуратно выдула его, произнося всякие глупые и высокопарные тосты. Пили за вечную дружбу. За то, чтоб исполнились мечты и мы поступили в институты, за верность нашим идеалам, за «умри, но не дай поцелуя без любви» и прочее. Тостов было много, вина мало, охмелели мы в два счета и сидели разомлевшие за своими партами — Лелька и Ритка впереди, а я и Нелка за ними. Мы задрали на спинку парты свои выпускные креп-жоржетовые платья и пели тонкими голосами модную тогда песню «Все мечты сбываются, товарищ». Я и сейчас слышу эту песню здесь, на фонтане — на свалке на бордюре, — на балочном склоне... «Если только сильно пожелаешь, если только захотеть, если только не робеть...» И так далее. Бодрая песня начала пятидесятых годов — не робеть, не робеть, не робеть... Как могла я это вспомнить на Андрюшкином вечере? Среди моих незакомплексованных учеников? Разве им нужно рефреном это — не робеть? Разве они будут запирались ножкой стула от кого бы то ни было?

Они и в жизни, как в своем освобожденном от правил и канонов танце, свободны и раскованны.

— Лина Николаевна! Не напрягайтесь! И ни на кого не смотрите. Все равно как держать руки! — Это меня учит троечница-пигалица, похожая на сделанного из электротехнических отходов жука. Это из-за худобы и наклеенных негнущихся ресниц. Ей их подарил дедушка, советник нашего торгпредства в Париже. Сегодня она — наконец! — их открыто напялила. Шик! Блеск! Ах, как она уверенно и вальяжно вскидывает свои худенькие лапки-крылышки. — Не напрягайтесь, Лина Николаевна, не напрягайтесь! Здесь это не полагается!

...Так чего я хочу сейчас? Пойти в школу и подняться в свой класс? И устроить себе самой традиционный розовский досмотр? Нет, нет, нет. Никаких досмотров! Будем без суеты и без суда идти по проступающим квадратам. Я знаю, чего сейчас больше всего хочу: я хочу невозможного. Увидеть нашу «четверку». Мы, пожалуй, не виделись уже лет десять. Последний раз — очень хорошо помню — встретились в очереди за босоножками без задников. И потом вместе шли с коробками из магазина... И говорили о преимуществах танкетки перед каблуком. И о том, что дефицит легче достать в глубокой дыре. Хотя теперь все уже умные. И тут знают, что к чему.

Содержательно поговорили. Будто не было между нами трепетной дружбы, с тайнами и клятвами, а так — барахольско-вещевое единство: а это почему? А это? А это где достала? Расходились быстро, а Ритка кричала: «Девочки, девочки! Куда же вы?» Но мы уходили в свои жизни, и дороги у нас были разные, хоть и шли мы в одинаковых босоножках шахтинской обувной фабрики. Цена — четырнадцать рублей пятнадцать копеек. Даже коробку помню. Грязно-голубую, с гнутыми краями. Час назад я понятия не имела, что это знаю.

Но увидеть их всех сейчас — как? Я могу увидеть только Ритку. Она здесь живет в том же доме. Меня сейчас отделяет от нее всего ничего — вот эти бывшие балки и школа, что подбадривает меня своим кирпичным боком, и бывший парк, и когда я все это пройду, Ритка положит мне на плечи маленькие ладони и заплачет.

— Я решала, решала, — скажет она. — Мне эта вписанная округлость даже снилась... А мне снятся — ты же знаешь — только безнадежные вещи...

На выпускном экзамене я ей передала шпаргалку. Закусив губу, она, страдая, старательно ее переписывала. Потом пожаловалась: «Больше всего я устаю от переписывания шпаргалок. Это для меня каторга. Эти синусы прутся на меня, как немецкие танки... Лина! Почему мне не дано это

понять?»

Я бегу к Ритке той же дорогой...

* * *

1952 год. В нашем парке играет духовой оркестр. Я не слышу музыки, но хорошо слышу, как ухает барабан. Бом-ох-бом-ох... Я бегу в парк «навпростець», через старый стадион, возле разбитой электростанции. Бум-ох, бум-ох... Когда я услышу трубу, я перестану бежать, а пойду быстро-быстро. А у самого парка я остановлюсь и вытрясу из туфель песок — здесь музыку уже совсем хорошо слышно — и войду в аллею спокойно и равнодушно, будто это не я бежала сюда как сумасшедшая.

В самом центре парка — разрушенный дворец. Висят на проржавленной проволоке лестничные пролеты, на фронтоне написано бодрое: «Восстановим дворец к 7 ноября 1944 г.». Каждый раз, когда я смотрю в проржавленное, развороченное нутро дворца, у меня портится настроение. Я вспоминаю, как разбился там один мальчишка. Я не видела этого, не знаю мальчишку, но все равно не могу смотреть на дворец.

Я прохожу мимо него быстро, стараясь не смотреть. Стоит мне пройти мимо его прохладного теневого бока, и я услышу, как играет в оркестре

дядя Гера. У его валторны сипловатый голос. Такой же, как и у него самого. Дядя Гера — Риткин родственник. Он приехал к ним после армии в сорок седьмом, с женой, Риткиной теткой, и валторной и сразу пошел работать в Дом культуры. Духовой оркестр — это его детище и его гордость. В кинотеатре перед началом сеанса вместе с оркестром выступает певица Людмила Петрова. Она умеет улыбаться красиво, а нам она улыбается особенно. Мы знаем, никакая она не Людмила, тем более не Петрова. Это тетя Рива, жена дяди Геры. Вся ее семья погибла во Львове, а она в это время была где-то на гастролях. И вот после войны она «прибилась» к дяде Гере — «Надо же жить, девочки!» — и вот теперь поет перед кино. Она полная, а платье на ней узкое, и петь ей, наверное, трудно, но она говорит, что эстрадная певица «должна выглядеть». Она поет «Догони, догони, только сердце ревниво замрет...», и всем нравится певица Людмила Петрова, и только мы знаем, как дома плачет тетя Рива, вспоминая маленькую дочку и своего первого мужа, артиста симфонического оркестра. «Разве можно сравнить, девочки, ту жизнь и эту? Разве можно сравнить первую скрипку Западной Украины с единственной валторной вашего так называемого парка культуры? Что вы видели, девочки, что вы знаете...»

Мы ничего не видели и ничего не знаем, и нам

жалко певицу Людмилу Петрову.

Я иду по парку. Возле бывшего фонтана стоят девчонки. Они ждут меня, они смотрят в мою сторону.

— Привет!

— Привет!

Уже через секунду, задрав носы, мы вышагиваем по традиционному кругу — задаваки из средней школы. Английскими булавками приколоты к нашим косичкам белые штапельные банты. Тридцать сантиметров штапеля — признак нашего равенства. И мы его носим постоянно и верно, а в остальном каждый одевается по возможности. Лелька и Ритка — лучше всех в городе. У них у первых появились креп-сатиновые платья. Матовое, с блестящей отделкой, такое платье было верхом элегантности и пределом желаний. Нелка носила платье еще из американских подарков, оно было длинным, но подшить его было невозможно — оно просто-напросто не прокалывалось иголкой. На мне — мамино маркизетовое платье. И все-таки в нашей компании я и Нелка — главные. Я — потому что учусь хорошо, Нелка — потому что ей совершенно плевать на тряпки. Она таскает свое американское платье, которое не протыкается иголкой, а от воды делается твердым и его можно свободно поставить, — и ничего. Я стараюсь воспитать в себе

такие же качества, но у меня ничего не выходит. Я никогда никому не скажу, но иногда мне хочется поменяться местами с Лелькой: пусть у меня будет меньше пятерок, но одно хорошее платье, сшитое для меня специально.

— Не в тряпках счастье, — убеждает меня моя мама. — Главное, учись хорошо.

— Главное для девушки — хорошо выйти замуж, — говорит Лелькина мать. — Будут наряды — будут женихи. Мне для Лелечки ничего не жалко.

Значит, моей для меня жалко? Да нет. Просто у наших родителей от разного заработка разные педагогические системы.

— Пока есть возможность — одевайся, — говорит тетя Фрида. — Но не надо быть дураком и думать, что вещи — это уже все. Это много, но это еще не все. В ваше время человек должен получить в руки специальность. А для этого надо учиться, девочки.

— Будешь зарабатывать, будешь покупать. А пока погоди маленько... — Это Нелкина мама. — Часы я тебе купила — и хватит.

Часы есть у всех. У Лельки, у Ритки, у Нелки. У меня — нет.

— У меня их сроду не было, — говорит моя мама. — А живу...

Я тоже живу. А что делать? Сколько остается

минут до конца урока, мне говорит Нелка, а на свидания я еще не хожу...

В тот вечер, когда мы старательно вышагиваем по парковому кругу, нам остается жить всего один год в нашем городе. Только год — и начнется новая, несказанно прекрасная жизнь.

А, черт! Все равно получается досмотр. Я напяливаю на себя мечту двадцатилетней давности. И она расплзается... Из чего шили мечты двадцать лет тому, если они разваливаются от одного прикосновения? Или это моя такая некачественная гнилушка?

Ладно... Мама «осела в хороших учительницах». Я иду к маленькой Ритке. Ее жизнь — я знаю — тоже ничем не похожа на то, о чем она мечтала. И сохрани господь, чтоб я ее судила за это.

Риткин жилкооп двадцать девятого года издания стиснут со всех сторон годом семьдесят четвертым. Сразу после войны это был фешенебельный район, здесь селилось районное начальство. Сейчас домики вошли в землю, уткнулись стыдливо в задворки пятиэтажек. Но я сегодня человек, проходящий сквозь стены. И я подхожу к Риткиному дому сразу с нужного мне угла. И успокаиваюсь: тут все по-прежнему, а главное — до сих пор нет забора.

Давно-давно, когда мы прибежали к Ритке попить воды перед кино, мы слышали, как серьезно

обсуждался в их семье вопрос о заборе. Несколько раз во двор даже привозили доски, и они долго лежали под дождем и солнцем, а потом куда-то исчезали. Я помню, как вкапывался круглый пахучий столб в то место, где должна была быть калитка. Он стоит до сих пор, почерневший и маленький, а забора так и нет, и калитки нет.

— И не будет! — говорила Ритка. — Зачем?

Я иду сквозь символическую калитку, мимо столба. Как хорошо, что он стоит! Потому что, за что бы я схватилась, не будь его? А схватиться надо было: в беседке, открытой ночами для чужих влюбленных, сидят все мои подружки. Они смотрят на меня, остолбенелую у столба, а Ритка начинает плакать...

— А ведь можно было сообразить, что ты привезешь сына после экзаменов к матери. Честное слово, можно было сообразить. — Это Нелка. Она крепко целует меня в щеки.

Лелька машет из угла беседки красивой загорелой рукой.

— Я не встану, — говорит она. — Сижу удобно. Подойди, я тебя чмокну. А ты вполне... Прoshлый раз ты была толстовата, а сейчас — мера.

На крыльце уже стоит Риткина мама в теплых войлочных тапках на полных, разрисованных синими тромбофлебитными узлами ногах.

— Здравствуйте, тетя Фрида! — говорю я.

— Фима! Фима! — кричит она в комнату. —
Смотри, кто к нам еще пришел!

На крыльцо выходит Риткин отец, маленький, седой, в рубашке из детской в зайчиках бумазеи. Он смотрит на нас, и слезы начинают бежать по его небритым щекам.

— Перестань, Фима, а то я тоже начну, — говорит Фрида Абрамовна. — Какая удача, вы все вместе. Это как Первое мая!

— Так не бывает, — твержу я. — Не бывает.

— Что не бывает, Линочка? — Ритка кладет мне на плечи маленькие руки.

— Я ведь спонтанно, — бормочу я. — А вы все вместе.

— Мы все спонтанно, — смеется Нелка. — У меня путевка в Кисловодск. Ну, приеду на три дня позже. А мама моя совсем старенькая, Лина, ты ее и не узнаешь... А у Лели здесь автомобильные интересы.

Лелька из своего угла таинственно мне улыбнулась. Я почувствовала, что никогда в жизни так кстати не придутся мне чужая путевка в Кисловодск и чужой автомобиль.

— У меня припасена бутылочка вина на случай, — говорит тетя Фрида. — Раз вы все вместе...

— Тетя Фрида! — смеется Лелька. — Что за дискриминация? Когда нас было трое, вы не

предлагали...

— Я как раз думала, — оправдывается тетя Фрида. — Я думала: сейчас я их угощу. Когда еще будет случай... А тут вижу — идет Лина.

Ритка расставляет на столе рюмки:

— Ты посидишь с нами, папа?

Ефим Исаакович радостно соглашается.

— Нет, нет, Фима! Ты оставь девочек, — кричит с крыльца тетя Фрида. — Пусть поговорят.

— Я немножко, — говорит он, — я одну минутку. — Он открывает бутылку, смотрит на нас своими добрыми глазами. — Кто из вас генерал, девочки? — спрашивает он. — Командуйте!

Мы выпиваем первую машинально, без тоста, только потом Лелька спохватывается:

— А за что мы пили?

— За встречу, — говорю я. — За спонтанность...

— За здоровье, — говорит Ефим Исаакович. — Пить нужно только за здоровье, девочки.

Он уходит, низко нам поклонившись, а мы остаемся вчетвером. Я снова наливаю в рюмки.

— Не надо, — говорит Нелка. — Успеем. Скажи, Лина, как твой сын? Мы правильно высчитали, он окончил у тебя школу?

— Да, — отвечаю я.

— Какое у тебя нервное будет лето, — это

Ритка.

— Ты знаешь, — говорю я ей, — он хочет в медицинский.

— Молодец. Мужчина-врач — это очень благородно. — Ничто в ее лице не дрогнуло, но ведь и я не вздрагиваю... Мало ли о чем мы мечтаем в семнадцать?

Нелка молчит. Лелька раскачивает рюмку, колышет золотистое от солнца вино.

— Девчонки, — говорю я. — Не надо о детях. Давайте о себе. Расскажите, как живете.

— Это трудно, Лина, сразу... Я вот тебя спрошу, как ты живешь, ты мне скажешь одним словом?

— Не надо одним! Я готова вас слушать целый день...

Леля поднесла часики к носу — значит, по-прежнему не носит очки, считает, что ни одну женщину никакие очки никогда не украсили.

— Целый день я не могу, — говорит она. — Я ведь, Лина, здесь на своей машине. Попросила Игоря завезти к Ритке, пока он тут свои дела устраивает. Скаты нам надо поменять. Так что он вот-вот за мной заедет.

Вот кого бы я не хотела видеть — так это Игоря. Лелька и не подозревает, какое неприятное для меня воспоминание — ее муж. Он был третьекурсником, когда я поступила в университет.

Я привезла ему от его мамы посылку, которую он сам брать не хотел. Ну а мне, счастливой, выдержавшей большой конкурс первокурснице, тогда можно было поручить все, что угодно. Я и тащила эту тяжеленную посылку для Игоси, как его называла мать. А потом уже без ног и без рук искала его по адресу. Он снимал комнатенку в цоколе, я просто упала в ней, когда добралась. Мне бы торжественно вручить посылку и уйти сразу, а я села, дышу, как паровоз в гору, а он тут же воровато запер дверь. Это была отвратительная молчаливая драка. Игося был несильным, но подлым. Он наступил мне коленом на руку. И мне пришлось ухватить зубами его диагональные штаны, я отплевывалась потом месяц. В конечном счете я его побила. Потому что, когда он уже отстал и даже словами выразил, что я ему и не нужна вовсе, вобла, стиральная доска, мешок с костями, я продолжала биться. Я пульнула в него будильником («хозяйский!» — кричал он), вылила на него воду из графина, а когда он стал кричать, чтоб я ушла, я перевернула ему стол, на котором лежали стопочкой тетради, пол-арбуза и стоял пластмассовый, доверху наполненный чернильный прибор. После этого мы больше не здоровались в университете, а вскоре мне пришлось переводиться на заочное, так что история его романа с Лелькой прошла мимо меня. Говорили, что он хороший муж,

добытчик — все в дом, в дом, Лельку любит, по работе хорошо растет.

И никому никогда я не рассказывала, как натекли в арбуз фиолетовые чернила. Но ощущение гадостности у меня до сих пор. И каждый раз хочется пойти и вычистить зубы от диагоналевых ниток.

На крыльцо выходит тетя Фрида.

— Лина, — кричит она, — а ты знаешь, что Варвара Сидоровна умерла? У нее тоже был тромбофлебит.

— Тромбофлебитная Варвара, — говорит Нелка, — Варвара с тромбофлебитом.

— Риточка ходила на похороны, венок несла! — продолжает кричать тетя Фрида.

— Мне, видимо, всех хоронить, — тихо говорит Ритка. — Вы, собаки, разъехались, а я тут одна осталась. Я и венок несла от выпускников послевоенных лет.

Мы познакомились с Варварой перед самым учебным годом. До нее нашим классным руководителем была математичка Елена Прекрасная. Мы любили ее за красоту. Она одна во всем городе ходила весь год в туфлях на высоком каблуке. От нее всегда хорошо пахло, и, несмотря на то что ей приходилось возиться с мелом, она ни разу не была в мелу. Ругаться она не умела, по пустякам не приставала, но если мы делали что-то,

что, на ее взгляд, было плохо, она только брезгливо морщилась.

— Ведь вы же люди, — говорила она.

По всем школьным правилам она должна была быть у нас и в десятом. Но мы узнали, что нам дают другого классного руководителя.

— Почему? — завопили мы. — Мы хотим Елену!

Мы побежали к ней. Она вышла к нам из учительской, высокая, красивая, иронически посмотрела на наши вдохновенные лица.

— А вы никогда не думали, что вы мне просто надоели? — спросила она.

— Мы? Вам? — закричали мы. — Никогда! Мы хорошие!

— Это ваше заблуждение! — засмеялась Елена. — Идите домой, завтра познакомьтесь с Варварой Сидоровной.

Завтра было тридцатое. Мы стояли в холодочке возле школы. Мы ждали, когда новенькая придет к нам знакомиться. Она пришла только тогда, когда прозвенел звонок на линейку. В синем бостоновом костюме, маленькая, волосы заплетены в косички, на ногах тапочки и белые носочки с синенькой каемочкой. Особенно нас поразили тапочки. У нас их называют «лосёвки», и ходят в них на базар, потому что, как говорит моя мама, по нашим дорогам каблук больше дня не